

РАССКАЗЫ

В северной деревне моего детства охотнику, бросившему подранка на произвол судьбы, мужики не подали бы руки!..

Автор

ПОГОНЯ. Из сборника рассказов «Бимка»

Короток декабрьский день. Не успеет зябкое солнце подняться над макушками деревьев, а тетерева взлететь на березы, чтобы подкрепиться мерзлыми почками, как вновь норовит оно зацепиться за еловые верхушки, а пальники камушками нырнуть в спасительную снежную перину. Всё в спячке, все в ожидании тепла, и только человеческие дела никто не отменяет.

В такой вот куцый морозный денек срядился лесник Никиша в обход своих обширных владений. Делянки проверить — как там заготовка идет — капканы посмотреть на куничку — а вдруг... да и зайчишка какой, может, где попался в ловушку. Ружье за плечами, краюха хлеба за пазухой, чтоб не замерзла, топор за поясом, на лыжи — и вперед.

Снежно в тот год было; зима еще только началась, а в лесу уж по колено. Без лыж и вовсе не пройдешь. Выбрался не рано — хозяйство задержало — и для скорости решил по торной дороге крюка дать. Пусть подальше, зато полегче. Километра три только и прошел, как вдруг прямо посреди дороги, в ложбинке — лось. Выкатился Никиша из-за поворота, а он там и стоит. Да не лось, а лосище! Ноги будто ходули — длиннющие, а голова как у слона! Да и мяса видно, что поднаел — будь здоров! Стоит и от неожиданности словно окаменел. И Никиша окаменел. Лыжи остановились, до сохатого метров сорок, а не знает — что делать. Зверь стоит, и человек стоит. А за плечами ружье... а дома, в коробочке с документами, лицензия на двух лосей... Опомнился человек, опередил лося — выпалил. Да впопыхах — боялся, что тот уйдет, — неудачно. Сохатый вздыбился во весь свой многоаршинный рост и огромным прыжком в чащу. Отлегло у Никиши: думал — смерть свою увидел. Этакому великану ничего не стоило человека копытами забить. Одного удара хватило бы!

«Неужели не попал?» — мелькнуло в голове.

Подкатился к тому месту, где лось стоял: крови нет. Только лунки от «ходуль» в накатанном снегу.

«Не мог я промахнуться, — подумал Никиша. — Слишком близко. Надо идти».

И — по лосиным следам... Только через час преследования заметил капельки крови.

«Ранен, — снова мелькнуло в голове. — В мякоть, видать, попало».

Сергей Яковлевич Кириллов родился в 1949 году в деревне Филипповская Архангельской области. Публиковался в региональной периодике, в журнале «Двина», в многочисленных сборниках. Дипломант фестивалей «За далью даль», «Славянская лира», «Русский Гофман». Живет в городе Советске Калининградской области.

И дальше — опять по следам.

Остаток дня так и прошел: зверя не видать, но крови все больше и больше.

«Пропадет, бедняга, — решил охотник. — Нельзя бросать».

И опять вперед. По следу. Сколько мог — шел, а лося так и не увидел.

Совсем стемнело в лесу, мороз закрепчал.

«Заляжет, — понял Никиша, заметив, что следы повернули в ельник. — Да и выбора у него нет, если ранен. Надо ночевать».

Выбрал елку поразлапистой, нарубил смолья для костра, лапника, чтобы укрыться, краюху пожевал — и уснул.

Наутро, с рассветом, сразу по следу. Лежку обнаружил скоро, но зверя там уже не было. Видать, зачуял человека и ушел.

И снова весь день в погоне. Раза два замечал сохатого впереди, но далеко, да и за деревьями, — какая тут стрельба.

«Идти надо, — решил окончательно. — Слабеет, бедолага, уж не то, что вчера».

Только на сутемёнках увидел Никиша лося в третий раз. Крался, как мог, но ближе семидесяти метров подойти не рискнул — почует. И снова выпалил — и снова неудачно. Зверь опять прыжка дал и опять в чащу.

Вторую ночь провел Никиша под елкой, краюху доел.

«Надо добывать провиант, — решил. — Иначе можно и ноги протянуть, как тот лось».

Наутро сбил полусонного тетерева, зажарил на костре, наелся, зато лося ни разу не видел. Только следы, хоть и частые. Понял, видать, зверь, что не отступится человек от него, и не подпускал к себе.

И на следующий день Никиша свою добычу не догнал, и на пятый день тоже. Только следы и местами кровь на снегу. Задела, видать, одна из пуль не только мякоть, и при движении рана (или раны) кровоточила. Так — в погоне — прошла неделя.

...А дома в это время воем выла жена. Бывало, что мужик в лесу ночевал — лесник все же — но чтобы зимой? Чтобы целую неделю?.. Ясное дело, что беда какая-то приключилась. А куда бежать? Где искать? Хоть и видно в лесу зимой на снегу все, да кабы знать, какой дорогой пошел.

Но мужики по делянкам пошли к лесорубам с расспросами, и пацанва по заячьим тропам, какие знала, — все без толку. А уж как неделя-то минула, все поняли: нет Никиши. И не будет никогда больше. Зверь ли какой загубил, сам ли обшастился где неаккуратно — на дворе-то декабрь. И хоть морозы за двадцать градусов еще не переваливали, однако все равно не жарко. Успокаивали вдову, как могли, ребятишек по головкам гладили, чтоб те ревели меньше, а много ли в том проку? Едоков в доме пятеро, да и хозяйство опять же. А что за дом без хозяина?

Совсем опухла от слез Лидия. Уж и голосу не стало — одни хрипы, а жить-то надо. Кто корову подоит? Кто ребятишек накормит да успокоит? А печь топить? А сено? Кабы не заботы повседневные, рехнулась бы баба, того и гляди. Заботами-то и держалась.

...На девятый день, с самого утра, зачастили в дом соседи. Вроде как невзначай приходили, вроде как утешить да разговорить, а в голове-то каждый думку держал. Девятый день ведь... И хоть не было похорон и покойника никто не видел, а все одно: все понимали, ЧТО случилось. А Лидия уж и не плакала. Головой только послушно кивала вслед утешениям да за поддержку благодарила. А как совсем стемнелось, выбежала за околицу, поворотилась к лесу лицом да во всю голову и заголосила:

«Господи ты Боже мой, Никишенька ты мой горемычный! Где ж ты головушку-то свою сложил? Где мне могилку твою искать, чтоб помянуть хоть можно было? Растащат ведь по лесу твои косточки звери лютые, и поклониться будет нечему».

Но молчал лес — бескрайняя могила мужня, никакого звука из него не доносилось. Подол только кто-то потянул. Глянула — сынишка. Маленький еще — во второй только пошел — но остальные-то девки. Кто младше, кто старше, а мужичок-то теперь в доме — он один.

«Пойдем, мамка, домой, — по-взрослому попросил мальчик. — Там корова шибко рычит, да и Лизка разбудилась».

А Лизке — сестричке — всего-то три неполных. Опомнилась Лидия, мальчишку на руки подхватила да так с ношей драгоценной и пошла назад.

А дома опять те же заботы. Туда-сюда, туда-сюда — забылась баба в суете-то. Вдруг схлопало что-то в саднике. Прислушалась — вроде как идет кто-то. Подумать еще успела: «Кто бы это? Ведь все уж за день побывали...» — а дверь и открывается.

Без стука!!!

Глянула — господи Боже: ободранный кто-то, обросший, как леший, и в куржаке весь.

«Кто ты? — крикнуть хотелось. — Человек или нечистая сила какая?» — а вошедший уж на середь избы выходит. Да на свет... Глянула получше-то — и на пол в ноги:

«Никишенька!!!»

Да, как припадочная-то, в рыданиях затряслась! Аж головой об пол! А Никиша наклонился к ней, за плечи поднял да к фуфайке своей разодранной и прижал:

«Живой я... не реви! Все хорошо, ись только шибко хочу!»

Охнула Лидия и кошкой радостной к шестку метнулась. Плача и причитая, выхватила чугунок из печи и трясущимися руками весь целиком и опрокинула в большое блюдо. К суднице прижалась, — наглядеться не может, как мужик щи захлеб уплетает. Куксится, всхлипывает, поверить боится, что это ее мужик, родной. И живой!..

«К Чепцу сходи, — заканчивая еду, проговорил Никиша. — Пусть на послезавтрие двух лошадей часам к семи утра приготовит».

«Сейчас, Никишенька, сейчас, — опять встрепенулась Лидия. — Обряжусь только маленько и сбегаю. Тебе-то чего еще?»

«Спать хочу!» — только и проговорил муж, залезая на полати.

...Через день, рано утром, возле дома Никиши пофыркивали двое лошадей, запряженных в сани, а лесник Чепцов, по прозвищу Чепец, нетерпеливо ерзал на лавке в доме Никиши, ожидая, когда хозяин будет готов к разговору. Еще в тот вечер, когда взволнованная Лидия прибежала к нему с необычной просьбой, он сначала обрадовался вместе с ней счастливому возвращению Никиши, а потом озадаченно наморщил лоб.

«На послезавтрие, говоришь? — переспросил он Лидию. — А ты ничего не перепутала? Может, на завтрие?»

«Ой, да ничего я не знаю, Миколушка! — сокрушенно ответила Лидия. — Вся-то я растерялась, как его увидела. С того света ведь, посчитай, вернулся! Но только вроде как не на завтрие просил лошадей-то...»

Никто из них и не предполагал в тот момент, что Никиша проспит не только всю ночь, но и весь следующий день, почти не поднимаясь! И еще одну ночь!.. И вот теперь Чепец от нетерпения даже раньше срока лошадей подогнал.

«Что случилось-то, Платонич?» — наконец задал он вертевшийся на языке вопрос, видя, что хозяин почти готов к выезду.

Никиша был в годах, и напарник по возрасту годился ему в сыновья. Вдобавок положение необычное, так что обращение по отчеству, редко практикуемое среди них в обиходе, прозвучало вполне уместно.

«Лося я завалил, — ответил Никиша, — километров двадцать отсюда будет».

«Дак а две-то лошади зачем? — поинтересовался Чепец. — И на одной бы вывезли».

«Далёко! — возразил хозяин. — Дороги туда нету, да и бродно в лесу. Уходим лошадей, если на одной, да и сами уходимся. Хоть бы на двоих-то выехать засветло».

Он помолчал немного, застегивая ремень на штанах, и продолжил:

«Сохач, Микола, попался — я эких ишо не бивал за всю свою жизнь! Доберемся — дак сам увидишь».

Дорогу пробивали медленно; где по мелколесью с топором, где по просекам попутным. Только к полудню добрались до места. Освежеванная туша зверя была надежно укрыта от непрошенных гостей, и потребовалось немало усилий, чтобы добыть ее из-под завала.

Обратный путь одолели быстрее, но хватило работы и лошадям, и людям. Вернулись уставшие, намерзшие — и сразу в баню. И вот там-то, после первого полка, когда распаренные тела блаженно расслабились в предбаннике, поведал Никиша молодому напарнику конец своей многодневной погони.

...После недельной гонки за зверем по зимнему лесу мысли охотника съезжились до предела. Собственно, и мыслей-то уже никаких не было; их просто выдавила из сознания с каждым днем накапливающаяся усталость. В голове оставалось только одно: лося надо догнать. Он ранен, он мучается еще сильнее — и от голода, и от холода, и от страха. Нельзя его такого бросать, не по-человечески это. И Никиша упорно шел по следу. День за днем, день за днем... Иногда он видел впереди себя зверя, но так далеко, что о выстреле не могло быть и речи.

И вот настал девятый день погони. Подкрепившись кое-как вчерашним палником, Никиша, уже скорее по инерции, чем с какой-то целью, брел по лесу. Морочило. Все в природе говорило о приближении снегопада, а это отнимало последнюю надежду.

«Повалит ночью снег, заметет следы — вся погоня впустую, — невесело размышлял охотник. — Да и патроны на исходе. А без них провианту не добудешь».

Ельник постепенно светлел, несмотря на серое утро, — впереди явно намечалась вырубка. Охотник низко нагнулся, подлезая под последнюю перед делянкой елку, выпрямился — и ошолбенел. Прямо перед ним, не далее чем в тридцати шагах, замер лось. Он стоял на вырубке, повернувшись к человеку низко опущенной головой, и не делал никаких попыток убежать. Широко расставленные передние ноги его мелко-мелко дрожали, и весь вид выражал полное безразличие к происходящему.

«И вот ты представляешь, Микола, — тяжело перебирая слова, рассказывал Никиша, — глянул я на него и вдруг глаза его увидел. Вот как твои сейчас. И такая в них тоска смертная застыла, что лучше всяких слов он глазами этими мне свои думки рассказал!»

«Как это?» - перебил Чепец.

«Да вот так! — горестно выдохнул рассказчик. — Прочитал я в них, Микола, как будто в книге, одну-единственную просьбу. И не просьбу даже, а пожалуй, мольбу: убей ты меня, человек! Убей, Христа ради, поскорей и не мучай больше, да и сам не мучайся. Нету больше мочи моей боль эту терпеть, пришел, видать, мой час!»

Утих Никиша при этих словах, и Микола замер, боясь пошевелиться. Распаренные тела дымились на холоде, становилось зябко.

«И что дальше?» — не выдержал молчания Чепец.

«А что дальше, — эхом отозвался Никиша, — убил я его. Руки задрожали, как за ружье взялся, а он — ни с места! Только голову ниже опустил. Ноги у меня, не знаю отчего, подкосились, оторопь взяла — не дай Бог, думаю, опять промахнусь! Гляжу — березка впереди меня маленькая, росошкой. Шагов десять до нее всего-то, дак, веришь-нет, я к березке этой пошел, чтобы ружье в росошку положить для упора! И покуда я до нее, Микола, шел, он все так и стоял, не шевелясь. Только глаза еще

тоскливее сделались... Уж и не помню, как я до той березки дошел, как ружье в рокошку приладил, помню только, что прицел взял точно в грудь».

Никиша снова замолчал и низко наклонил голову к коленям. Совсем заглодало в предбаннике, конец рассказа был близок, и Чепец опять подтолкнул:

«Дальше-то что, Платоныч?»

«А дальше я попал, Микола... — медленной расстановкой проговорил Никиша. — Вот куда задумал — туда и попал последней пулей. Сохач даже не трепыхнулся. Только ноги у него разъехались передние, и он упал. Прямо в сердце пуля прошла...»

Гнетущая зябкая тишина загустела в предбаннике. Слов не было у рассказчика, вопросов у слушателя. История невероятной погони пересекла последнюю черту. Оставалось только осмыслить и осознать услышанное.

Напарники залезли на жаркий полоч и с удовольствием доверили свои тела расслабляющему пару каменки. Домывались недолго — усталость давала о себе знать. Одевались молча — каждый думал о своем. И уж за столом, после выпитой стопочки, Никиша, будто и не прерывая свой рассказ, закончил:

«Я потом еще с полчаса возле него сидел. Опомниться никак не мог — так мне его взгляд в душу запал».

Он наколол на вилку маленький белый кругляшок груздя и медленно, словно нехотя, зажевал.

«После уж спохватился — свежевать же надо. Да и идти далёко, — продолжил, помедлив. — Пока со всем обрядился да дошел — вот и отёмнал. А дальше уж ты знаешь».

Никиша потянулся за бутылкой, пододвинул стаканчики:

«Ну, давай еще по одной да спать».

Он медленно наполнил стопочки, тяжело, будто каменную плиту, поднял свою и, протяжно вздохнув, добавил:

«Устал я смертно, Микола!.. Вот как за целую жизнь, устал от этой погони. И состарился, как за всю жизнь...»

...Через три дня, закончив все дела с оформлением добытого лося, в районное общество охотников пришел лесник Никиша и положил на стол председателя нереализованную лицензию:

«Больше я в своей жизни не стреляю!»

ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ

Женщину, о которой речь ниже, я знаю давно. Еще с начала шестидесятых, когда впервые познакомился с ее сыном Вовкой. Был он младше меня года на три, не в меру заносчив и задирист, несмотря на свои неполные десять лет, но как партнер для мальчишеских игр все же годился. И я стал бывать у него дома, благо дома наши разделял всего километр.

Мать его, бойкая, голосистая, невысокая бабенка, казалось, никогда не закрывала рот и не сидела на месте. (Не подумайте только, что слово «бабенка» несет негативный смысл. Наоборот, оно служило уважительным и ласкательным в той среде, где прошло мое детство и где слово «женщина» в обиходе не употреблялось вообще.) Было у нее в то время трое детей: две старших дочери и младший, Вовка. Был, как у всех, свой дом, а в доме муж, что было далеко не у всех: война мужиков выкосила. Но этой женщине повезло: мало того, что мужик в доме, так еще какой мужик! Пусть не богатырь, не здоровяк, зато улыбчивый и, как у нас говорили, башковитый. Ничего из его рук не валилось, со всем умел управляться и всякой вещи, даже

отслужившей, находил применение в хозяйстве. Даже из старой мыльницы однажды фонарик сделал! Да какой! С угора на угор брал, как прожектором! А это добрые двести пятьдесят метров по прямой. Все дивились такому чуду.

Жена его звезд, как говорится, с неба не хватала, но и из общей обоймы не выпадала. Что дома по хозяйству, что на колхозной работе последней никогда не была. Хоть и маленькая, но зато бойкая, шустрая, и все в ее руках кипело. Будь то грабли на сенокосе, серп в поле или сковорода у печи. И никому никогда в голову не приходило ее как-то выделять-величать. Она была одна из многих — такими были в нашей деревне все. Все всё делали дружно и споро. Никогда не приходило мне в голову, что у каждой из тех женщин, что с песнями ехали на колхозной машине на сенокос или плясали в обед под гармонь прямо на покосе, есть какая-то своя судьба, своя, особая доля, — настолько все они в общем деле казались одинаковыми. Видно, запирали от чужого глаза сокровенное, выстраданное и пережитое, о котором знали, может, и не только они, да только никому никогда не выказывали на людях.

Не унижай себя. Стыдися торговать
И гневом, и тоской послушной.
И гной своих душевных ран
надменно выставлять
На диво черни простодушной!

Уверен: никогда ни одна из них не читала этих лермонтовских строк, но неписанный моральный закон, столь ясно выраженный поэтом, соблюдали они неукоснительно. Потому чужаку, попавшему в нашу деревню на покос или на «общину» (так называлась уха из выловленной сообца в лесной речке рыбы), могло показаться: вот она — цветущая советская деревня, где решены все проблемы, где все счастливы и сыты, веселы и довольны жизнью. И невдомек ему, чужаку, было, что эти неунывающие русские бабы получают порой зарплату меньше рубля в день. Что шифоньер их фанерный — если он вообще есть — хранит одно, в лучшем случае два платья «на выход», а остальное — помазейные (повседневные) латаные-перелатаные рубахи. Что от темна до темна — а зимой и затемно — правят они ежедневно крестьянские заботы круглый год, без выходных и отпусков (какие отпуска от земли?!) и лишь в редкие церковные праздники, да еще на выбора (так и говорили — выбора́, а не выборы) или чьи-то именины позволяют себе разрядку. А уж когда вовсе душа не терпит, когда обеденный перерыв собирает вместе у общего очага, то прямо на покосе могут лихо отплясывать под незатейливые трели гармониста.

Так было. Все было именно так в моей большой северной деревне, и так было прожито очень много лет.

А потом деревня умерла... Мучительной и долгой смертью, первые признаки которой — все увеличивающийся отъезд молодежи — проявились в году этак в 63—64-м, потом усилились к концу шестидесятых, а когда в 70-м поголовно запила вся молодежь, до шестнадцати лет и старше, деревни просто не стало. Старики ушли на вечный покой, а молодых стала интересовать только водка. Рухнули все моральные законы и правила, которые стояли на пути к заветной бутылке. И все...

Очень скоро от деревни остались только пустые избы. Многие уехали, и я в их числе, и уже более тридцати лет лишь навещаю в родные места, всякий раз испытывая щемящую боль от гнетущей тишины, запустения, безлюдья и уныния, которые навечно, кажется, поселились там, где когда-то кипела жизнь, было шесть (!) колхозов, свой маслозавод и почти две тысячи колхозников! Теперь нет даже ворон... А о колхозниках — тех самых боевых деревенских бабах — вспоминаешь, лишь посещая деревенское кладбище.

В очередной приезд я снова встретил эту женщину. Она сильно изменилась: заметно постарела, стала совсем маленькой, и я чуть было не прошел мимо, не узнав ее. Но что-то знакомое мелькнуло то ли в походке, то ли в движениях рук, и я остановился — она тоже; мы взгляделись друг в друга, разговорились — и я услышал удивительный и неожиданный рассказ.

Начала она его не сразу; разговор касался сначала других тем, но как-то нечаянно налетел вдруг, как на подводный камень, на эту, всегда запретную, тему — и пожилая женщина не выдержала. Видимо, силы на исходе восьмого десятка были уже не те, чтоб все в себе прятать.

...Это было осенью 1941 года. Седьмого ноября, день в день, их — молодых, семнадцати-восемнадцатилетних девушек — собрали у сельсовета и погнали (она так и сказала — «погнали!») на ближайшую железнодорожную станцию Котлас, за сто километров. Было холодно, но об этом никто не спрашивал, и никто ничего не говорил. В Котласе всех посадили в товарные вагоны и повезли до Вологды. А оттуда в Грязовец. Там, в девяти километрах от Вологодского райцентра, они приступили к оборонным работам. Двадцать четыре тысячи неокрепших девчонок согнали туда, некоторым и семнадцати не исполнилось. А отрыть им предстояло линию обороны по всем инженерным правилам.

Стужа стояла лютая — всем известно, сколь сурова была зима 41—42-го — морозы доходили до пятидесяти градусов, и лом не брал мерзлую землю. Приходилось по крошке, чуть не голыми руками отковыривать окаменевший грунт, чтобы потом взять его лопатой. А надо было и траншеи, и окопы, и ходы сообщения, и блиндажи, и все-все остальное отрыть, без всяких скидок. До жилья далеко; бывало, сил не оставалось, чтоб добраться, — так в окопах и ночевали. Триста граммов хлеба в день — вот и вся еда за всю зиму, вплоть до весны. Только один раз где-то пала лошадь, и давали конину, но досталось не всем, и женщине, о которой речь, недосталось тоже. В тот же день ее подруга, которая безуспешно отстояла в очереди за кониной, услышала от каких-то чужих разъяренных мужиков, что те хотят совершить нападение на дом хозяйки, где подруги ночевали, и украсть у нее овечку. А у хозяйки самой двое детей, с третьим на сносях, муж, конечно, на фронте... Так и не спали всю ночь женщины. Впрочем, какие женщины, в семнадцать-то лет? Девчухи, хоть и много лиха хватившие.

Так всю зиму — с ломом и лопатой, в окопах.

«Мне и сейчас не надо объяснять, что такое „полный профиль“, или „тройной накат“. Все это я сама кому хочешь растолкую и сделаю даже теперь без всяких чертей!» — продолжала рассказчица.

Такое вот инженерное военное образование жизнь дала за четыре военных месяца.

«А с мужиками теми мы потом даже сдружились. Они такие же несчастные, как и мы, оказались. Сами потом сожалели, что такое пакостное дело замыслили. Нам после помогли, чем могли, ну и мы тоже старались на добро добром. Но чтобы до каких-то шашней, — нет; до этого ни дело, ни разговоры не доходили. Так, по-человечески, от чистой души помогли».

Работу закончили только в марте, когда стало ясно, что она никому не нужна: немцев-то от Москвы отогнали.

«И тогда нас опять в Котлас повезли. И опять в товарных вагонах. А мороз-то!!! А вагоны не обогревались... Сколько нас погинуло по дороге от мороза — не сосчитать! Да и не считал никто: вывалят на остановках тех, которые мерзлы, будто чурки какие али бревна, — да и дальше. Довезли до Котласа, кто остался, выпихнули, муки дали ишо сколько-то на дорогу — и иди куда хочешь! И опять сто километров до дому. И мороз опять, а ночевать не пускают. Боятся; у всех дети малые

в избах, а мы грязные да завшивели! Ведь за все время ни разу в бане не мылись! Думали — уж и дома не бывать, да вот с Кланей (подругой) как-то дошли. И теперь я еще живу; восьмой десяток уж, а все живу. И все помню...» — завершила она свой каменно-тяжелый рассказ, во время которого по щекам ее непрерывно катились беззвучные слезы.

И чуть ли не более самого рассказа потрясли меня именно эти слезы, которые струились и струились из ее печальных глаз и которые она, видимо, от усталости за пережитое почти не вытирала. Столько лет копились в душе, как подземное озеро, и вот...

«Живы-то остались, — добавила она, помедлив, — да месяцы-то те потом все равно сказались. Кланя к сорока годам совсем без зубов осталась. И теперь все называется... Мама моя умерла сразу, как мы вернулись, отец на фронте погиб, а нас пятеро осталось. Младший братик с сорокового года, старшая — я. Так вот и прожили свою жизнь».

И все. Никаких расшифровок. Словно и без того понятно — КАК именно прожили. Смекай, дескать, коли голову на плечах носишь.

И подумалось мне, потрясенному рассказом этой очень много пережившей женщины: да как же мы, нынешние, о таких, как она, ничего не говорим?! Более того — не знаем!!! Ведь и я бы не знал, не случись эта неожиданная встреча и этот разговор. И десятки, сотни других, таких же, как я, не знают. Живут рядом — и не знают! Всё герои да герои на слуху. Те, которые были на фронте. На передовой. Потому что там стреляли, там убивали, там люди тяжело терпели и мучились. А вдали от фронта как будто ели досыта (триста-то граммов хлеба в день!), как будто не мучились от лютой стужи, не умирали, наконец! Какая все-таки несправедливость — об одних все, а о других ничего! Одним льготы и пенсии, а другим болезни, преждевременная старость и смерть. И хоть одна русская баба принародно заявила об этом?! Нет!!! Ни одна! Несла молча свой тяжкий крест и стыдилась о своей горькой доле скулить. Все несли — и все стыдились. Может, оттого и вынесли, что стыдились? Может, в том и была их невидимая сила? Конечно, Победу ковали те, кто держал в руках оружие, и об этом надо помнить всегда. Но нельзя забывать и о тех, кто победу приближал. Кто своим тяжким трудом в тылу обеспечивал и поддерживал фронт. Это как две стороны одной медали — одна без другой не существует. А мы как-то всё об одной да об одной... Как будто другой и нет.

А теперь я хочу, чтоб хоть одно имя прозвучало. Рассказчицей была простая деревенская женщина — Валентина Ташлыкова из деревни Едома (официальное название Фомино) Черевковского (до 1959 года, позднее Красноборского) района Архангельской области, которую уже в наши дни горькая судьба вынудила оставить семейное гнездовище в умершей деревне и перебраться доживать свой век в Черевково. Я даже отчества ее точно назвать не могу — не принято было в деревне величать. А ее подруга Кланя, Кириллова Клавдия Васильевна, ушедшая из жизни еще в 1970 году, когда ей было только сорок пять лет, — это... моя родная мать! И за всю свою сознательную жизнь, сколько себя помню, я никогда не слышал от нее рассказа о страшных месяцах зимы 1941–1942 годов. Только раз или два на моей памяти с губ мамы срывалось тяжело-горькое восклицание: «Ох, а на оборонных-то...» И она замолкала, не продолжая, словно устыдившись своей слабости. Да только никто не обращал внимания на невзначай оброненное восклицание, и никто ни о чем не спрашивал. И я в том числе. Лишь теперь, прожив больше, чем прожила моя мать, я совершенно случайно узнал, как была написана одна из самых тяжелых ее жизненных страниц. И что скрывается за горьким вздохом «А на оборонных-то...».